

Валерий Дементьев

УТЕШЕНИЕ ДИОНИСИЯ

Отрывки

Крик монастырских галок подымало ветром над звонницей, сносило в поля вместе с редкой куделью тумана. Ветер дул-задувал ровно и сильно, как из подворотни, раскачивал вершины старых тополей, срывал с крыш сырые дранки. Белесый туман рвался на лету и тогда с небес начинало скупно сочиться утреннее солнце. Было похоже оно на яичный желток, растёртый в белилах. С косогора, из-за ограды, виднелась взъерошенная даль Бородаевского озера, в Заозерье — кромка леса, откуда неостановимо вылетали, пластались по небосклону облачные стаи. На монастырском подворье свивались в тугие петли тропинки. Начинались они у поварни, у трапезной, у монашеских келий и вели к широкой лестнице Рождество-Богородицкого Собора.

Собор стоял на взмостье, окружённый с трёх сторон галереей. С главного входа ещё не сняли леса. Сквозь горбыли, сколоченные крест-накрест, сияла охряная и лазурная роспись.

Ферапонтова обитель не была столь богата и славна, как соседний Кирилло-Белозерский монастырь. Мало землицы и деревень было приписано Ферапонтовой братии. Мало было и прихожан в глухой округе. Зато место красно и угодно на жительство избрал в старину Ферапонт, основатель обители, сподвижник старца Кирилла. Стоял монастырь на возгорке между двух озёр, одно Бородаевское, другое — Паское. Озёра рыбные. Леса — грибные. Сенокосные угодья — обильные. Потому-то и трезвонили бойко колокола, как они трезвонили в тот час, когда на ветру раскричались монастырские галки.

Дионисий, угрюмо насупившись, шёл к храму по размокшей тропинке. Ночью в келье он лежал пластом, не смыкая тяжёлых от бессонницы век. Дионисий всё прислушивался к дребезжанью слюдяного оконца, к глухим порывам ветра, к ударам колокола, мерно стекающим со звонницы. Медной доской давила на грудь духота, и не было сил отбросить ту доску, вздохнуть, как и прежде, легко и свободно. Смутилось в нём сердце, — страх смерти напал на него, покрыл тьмой недоумений, объял душу боязнью и трепетом. Почитай, с самой весны точила его, как червь дерево тлит, неотвязная дума: прах летучий сие житие, пустое мечтание. Нет и не было смысла в его дерзновенных трудах и лишениях.

Встал Дионисий, измаянный лихоманкой, ослабевший, поникший. Едва отворил низкую дверь, как ветер вырвал из рук скобу, с силой хлопнул притвором. От ветра, дующего с Бородавы, от утренней свежести, от милых душе озёрных просторов вроде бы чуть полегчало. Взгляд привычно скользнул по крестьянским дворам, прилепившимся к косогору, по рыбацким ладьям, вразнобой пляшущим у причала, по синему лесу, зубчато стеснившему монастырь. Дионисий перекрестился на храм и надумал идти было дальше, как от соседней кельи навстречу ему поднялся человек. Длинные космы мокры, спутаны. Сквозь рвань ходильного платья обнажилась грудь, тяжело блеснул нательный кованный крест. Это был блаженный инок Галактион. Не имел он ни кельи, ни малой каморы, ночевал где придется: на монастырском подворье, иное под окнами келий, а иное на голой земле у собора, — радел о славе мученика и провидца. Прежний игумен благословил монаха на подвиг юродства, но с тех пор приводил он в трепет лесную округу.

Среди монахов шёл шепоток, будто не без его, галактионовых козней случился в монастыре пожар. На осеннем рассвете враз загорелись амбары, сушильня, ограда, запылало всё, затрещало, огонь перекинулся на ветхие кельи, в одной из которых жил опальный отшельник по имени Иоасаф. Сановитый и мудрый, сведущий в книжном письме, был Иоасаф из знатного рода Оболенских князей. Подался он в белозер-



Иконник Дионисий Мудрый.

Спас в силах.

1500 год.

Из собрания Государственной Третьяковской галереи.



Иконник Дионисий Мудрый.

Христос Вседержитель.

Роспись купола собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.



Иконник Дионисий Мудрый и мастерская.
Роспись западного фасада собора Рождества
Богородицы Феропонтова монастыря.
1502 год.



Иконник Дионисий Мудрый и мастерская.
Святитель Иаков, брат Господень.
Роспись алтаря собора Рождества Богородицы
Феропонтова монастыря.

ские страны, отягчённый великокняжеским гневом. Галактион, словно прибудный пес, слонялся вокруг Иоасафовой кельи, спал, согнувшись в калач, сидел у стены часами. Когда враз охватило пламенем низкую кровлю, вскричал знатный старец, что лежит в потайном уголке некий клад, хранимый монастырского ради строенья. Тогда-то Галактион, случившийся при пожаре, осенил себя крестным знаменем, бросился в дверь, забитую дымом. Вынес из пламени, поставил к ногам Иоасафа укладку, окованную серебром да красной медью. На ту большую казну князей Оболенских были срублены заново все постройки. Начали строить и новый собор. Возводили его с великим стараньем, — камень везли издалека, из-под Ростова. Ростовской же артелью с мастером Прохором был собор изукрашен кирпичною вязью, узором из бусынок, выпуклою — обронной — плетеницей.

Дабы придать благолепие церкви, отписал Иоасаф грамотку в Москву. Звал в той грамотке он самого Дионисия — известного живописца. Старый мастер на уговоры не поддавался. Однако в зиму 1500 года неожиданно прибыл в обитель с двумя сыновьями — Владимиром да Феодосием, да левкащиком Еремеем, да иными пособниками и писцами.

Той же весной артель приступила к работам.

Везли мужики в монастырь промытый речной песок, мешки с ржаной мукой, лён в тяжёлых жгутах. Московский пособник по имени Еремей придирчиво трогал и песок, и лен, и уголь в грубых рогожах. Был пособник зело понятлив в строительном деле. Ведал он: в стенописаньях левкас — всему голова. Известь для левкаса, — а им покрывают стены соборов под краску, — потребна белая, мягкая, пышная, словно перина. Зимой эту известь вымораживают на холоду, а летом — мешают в творильных ямах. А все для того, чтоб не пошла емчуга по письму морокой, чтоб не покрылись лики угодников соляным, белесым налетом.

Когда же известь протрут, просеют, надо лён вычесать, изрубить его мелко-мелко, добавить коры еловой, — да всё смешать, — вот тогда и будет спелым левкас. Тогда по редкому ряду железных гвоздей, вбитых в стены, наметывая левкас, гладь его ручною лопаткой, грунтой стены под краску. Но помалу делай дело: должен успеть живописец за день покрыть стены письмом. А как засохнет левкас, так писать иконнику худо: краски померкнут, могут осыпаться враз, отшелушиться...

— Добрый ныне левкас, — сказал Еремей, вытирая ладонь о порты. Отличался левкащик добродушием, дородностью и голоса густотой.

— Феодосий, — как из бочки гудел он, — «Брак в Кане» графьей помечает, а Володимир — серафимов в окне пишет...

...Из-за высоких помостов, чанов с водой, горшков и кринок, заляпанных краской, корчаг, стоящих вдоль стен, в соборе было грязно и тесно. Пахло сырой известью, олифой, смолкой сосновых досок. На лесине, ограждавшей помост, сидел Феодосий. Сидел он небрежно и легко, как татарский баскак на коне, слегка покачивая ногой, обутой в сафьяновый сапог...

Не сменив позы, Феодосий взял из обливной корчаги кисть и стал писать по свежему левкасу. Мазки его были мелкие, иконописные, но ощущалась в каждом движении твердая вера в себя. Тут уж медлить ему было некогда. Но и поспешать тоже нельзя: сырой левкас схватывал краски намертво. Переделать, исправить содеянное был уже невозможно. Высветлив лики, он двинул белилом по сильным местам, наметил скорбные подглазья, а уж потом, принялся за ризы, коруны, за всё царское убранство. Феодосий сошёл на помост и с истовостью, неприметной в нём прежде, начал выписывать брачный наряд жениха. Охра медвяная, жжёная, киноварь, празелень, голубец — все краски были у него под рукою. И постепенно проступали на стене жемчуга и драгоценные бляшки на оплечьях жениха. Загорелся на Богоматери вишнёвым цветом мафорий — наряд, подобный головному покрывалу. Плавными складками легли одежды угодников. В ликах, писанных Феодосием, было что-то

заученное, единообразное. Зато выше меры старался он, выписывая праздничный царский наряд.

Дионисий долго следил за художеством сына. Было и Феодосию дивно столь пристальное внимание отца. По напряженному заграву, по его плечам, обтянутым холщовым балахоном, по всему складному облику чувствовалось: вкладывал душу Феодосий в соборную роспись. Хотелось ему показать, что он сам по себе, а не как чадо премудрого Дионисия, многого может достичь в благолепном письме.

Дионисий присел на холщовое сиденье и взыскательно оглядывал стенную роспись. Вспыльчив норов у сына, и не терпит он ни в чем прекословенья. Посему Дионисий сидел, облокотившись на колено, вобрав в ладонь бороду, сидел неподвижно, даже безучастно, и все-таки многое примечал из-под приопущенных тяжелых век.

Монахи, приставленные к артели, вносили и выносили воду в дубовых ушатах, растирали на плоских камнях комья охры, копанной тут же, на берегах Бородавы. Они студили клей для лазури, мыли в корчагах щетинковые кисти. И по тому, как неслышно мелькали они под опорами помостов, понимал Дионисий, что меньшей его сын стал для них главой дружины, а Феодосию, быть вскорости жалованным иконописцем государя.

В толще северного окна писал серафимов Владимир Поджав под себя калачом ноги, в серой, заляпанной известью однорядке, был Володюха подобен мучному кулю: тучный, словно заспанный, работал он с ленцой и явным небрежением. Томился Володюха в Богоспасаемом углу второй год, втай поносил отца и меньшого брата за их сговорчивость да податливость на Иоасафовы увещеванья. Да и как было ему не браниться, ведь ни денег, ни почестей не огребут они в Ферапонтовой обители. «И какого беса, — прости мя, грешного, — думал он, — было бросать княжеский двор, коль скоро знатные муролы — фряжские каменнотроительных дел мастера — строят в Москве церкви чудны вельми и светлостью, и звонностью, и высотой. А тут, в топях-болотинах, дикость одна да полное истощение плоти. У смердов не токмо меду хмельного али браги пенной, ломтя хлеба не сыщешь».

Не был Дионисий ни чернокнижником, ни ясновидцем, но умел читать он в сердцах сыновей своих как в открытой книге. И потому, что в Володюхиных потайных укоризнах было немало верного, еще более ссутулился он на холщовом сиденье...

Феодосий одернул тонкосуконный зипун, поправил кожаный пояс, крытый серебряными бляшками, и зашагал в келью Иоасафа.

Знатный старец Иоасаф удалился в Ферапонтов монастырь, алкуя тишины, одиночества и покоя. Однако не обрел он здесь благочинной отрады, ни очищения духа от мирских забот и соблазнов.

Поддерживаемый под локоть иконником, Иоасаф вошел в собор, где в обеденный час было безлюдно.

...Бледное солнце выглянуло из-за тучи. Задрожали на свету тополиные листья, зашептались травы, сильнее завершали монастырские галки.

От купола до самого полу покрывала собор золотистая и бирюзовая роспись. Помосты да лестницы затеняли многие письма. Краснели кирпичом не левкашенные своды и подпружные арки. Но ясен был чудесный замысел главы иконной артели. В четыре ряда шли письма: по нижнему ряду палаты с дивными медальонами. Выше — акафист во славу Девы Марии, по сводам да по лютернам евангельские главы.

— Лепота! — еле слышно выдохнул Иоасаф. Феодосий, польщенный похвалой старца, стал разяснять ему многомудрую хитрость стенового письма. Напирал иконник особо на «Вселенские соборы». Да и в акафисте Деве Марии пояснил Феодосий мудрую богословскую сущность: через прославление Богоматери славили писцы-иконники добро-



Иконник Дионисий Мудрый и мастерская.
Митрополит Пётр.
Роспись алтаря собора Рождества Богородицы
Ферапонтова монастыря.



Иконник Дионисий Мудрый и мастерская.
Явление Святого Николая императору
Константину.
Роспись Никольского придела собора Рождества
Богородицы Ферапонтова монастыря.



Иконник Дионисий Мудрый и мастерская.
Первый Вселенский собор.
Роспись южной стены собора Рождества
Богородицы Ферапонтова монастыря.



Иконник Дионисий Мудрый и мастерская.
Явление Святителя Николая епарху Евлавию.
Роспись Никольского придела собора Рождества
Богородицы Ферапонтова монастыря.

го пастыря Иисуса Христа. Поднаторелый в книжности Феодосий говорил живо, складно, велеречиво.

— Лепота! — только и вздохнул в ответ Иоасаф.

...На совет к преподобному Иоасафу пришли казначей, келарь, игумен монастырский. Приведен был и Галактион, сникший, припрятавший под космы огоньки росомашьих глаз. Совет порешил: дабы не отвращать прихожан от храма, собрать какой есть в монастыре народ. И должен при всём том честном народе держать покаяние Галактион. Да так, чтобы на сердце впавшего в скорбь Дионисия, как разумели святые отцы, пролился свет благодатный.

Пополудни во втором часу ударил колокол на звоннице. Густой медлительный гул поплыл над озёрами, над лесами, над крышами крестьянских дворов, крытых лубьём и дранью. Возле паперти замелькали клобуки монахов, скуфейки послушников, войлочные мужицкие колпаки. На папёрть, к главному входу, с которого мастера сняли леса, взошли преподобный Иоасаф, келарь, игумен. Из храма показалось надменное лицо Феодосия. Был он одет в рабочий балахон. Волосы повязал ремешком. Иные пособники с любопытствующим Володюхой теснились за его крутыми плечами.

— Братие! — торжественно начал игумен. — Иконная дружина старца Дионисия, преизрядного мастера из стольного града Москвы, заканчивает роспись в Богоспасаемом храме...

Колеистый просёлочек, ведущий к Цыпиной горе, обветрился, зачерствел. Лишь в рытвинах омутами стояла вода. Дионисий ступал затравеннейшей обочиной, иногда он переходил на просёлочек, где посуше. Мягкие татарские сапоги его забрызгались грязью, промокли, но Дионисий упрямо постукивал батошкой в лад неторопливому шагу. Порывы ветра подхватывали его под зад, развеивали полы ряски, морщили воду в колеях, пока чистое небо не заблестело по всей дороге и в глубоких колдобинах, и в малых лужицах, из которых воробью не напиться. Скрылась за спиной бревенчатая ограда Ферапонтова монастыря с надвратной, рубленной же из брёвен церковью. Осталась за пригорком деревенька Лещево. Потемневшие от дождей избы сгрудились у просёлка. А дорога все круче и круче заворачивала к Цыпиной горе, к Ильинскому погосту, обтекала замшелые каменья, ныряла в низины и снова взбиралась на крутые пригорки.

Мнилось Дионисию: идет он не сим хоженным-перехоженным просёлком, а неким путем к некой высокой-высокой горе. С той горы из-за вечных туманов и облачных хлябей будет видна ему матушка-Москва. Бирюзовые ленты рек опоясали грудь земную. Легли к изголовью студёные моря-океаны. Вечнозеленым платом дубрав и полей окутаны плечи. Глядит Московия синими очами озёр, глядит не мигая. Пытает у него, у Дионисия, свою бусу, свою судьбу. А что ответит Дионисий, что изречёт он? Путь его жизненный путь краток, но им же он и течёт. Не дым ли да пепел житей его? Не томим ли он страстями, в коих изнемогает разум его? Не искал ли он утешенья в прилежном письме? Не предавался ли философской премудрости, книжному чтению? Да истина открылась ему: «Путь сей краток есть... Дым есть сие житие».

Тюкает батошкой по утопанной тропке. Пришаркивает, идёт Дионисий к Ильинскому погосту. Но как ни высоко, как ни жёстко встают в душе его волны унынья — не может не видеть Дионисий Божеской и земной благодати, разлитой окрест.

...Берёзовые рощицы выбежали к просёлку. Разостлались по взгоркам ромашковые травостои с мокрыми, басовито гудящими шмелями. Зазвенели в небе жаворонки. Они то падали, то взмывали в небесную высь, словно кто-то подергивал их паутинкой. Густой, сладостный дух шёл от старых пепелищ, заросших тополями. Дионисий втягивал запах свежей смолки и примечал, будто отпускает его телесная немощь, тверже тюкает батошкой по земле. В такие тополя любил он забираться от-

роком, вырезать из веток свистульки. До сих пор обжигает губы горечь тополёвой смолки. Бежит босоногий отрок за скоморохами, свистит, надув щёки, в свисток. То-то было радости. То-то веселья.

Тюкает батожок по земле, которую от монастыря к монастырю, от посада к посаду всю исходил Дионисий. На глаза ему попалась крупная, едва не в ладонь, ромашка: солнышко, расцветшее у придорожного камня. Дивны дела твои, Господи, дивны красоты твои, матушка-Русь! Погулял в молодости Дионисий по весеннему разнотравью у монастырских оград, у высоких крылечек. Порасписывал стены соборов охрой жёлтой, как сердцевина ромашки, белилом белым, как её лепестки. Ныне осыпалась голова снежной заметью: не стряхнуть, не вычесать из поредевшей гривы. А тогда сплетала ему ныне умершая жена Ориница венки из ромашек, целовала сладкой сладостью вишневой, надевала те венки на жесткие кудри.

Ах, дивны красоты твои, матушка-Русь!

Не счесть на равнинах твоих теремов боярских, башен оборонных, городов белокаменных. С красками да кистями, со всем набором иконописным исходил смолоду Дионисий твои дороги, ел твой хлеб, замешанный на корье сосновом, пил твоё парное молоко. Встречал людей многих — князей в златотканых одеждах и святителей в бархатных саккосах, посадских в кафтанах суконных и служилых в кольчугах железных. Но чаще всего встречал на Руси простых холопов в азиях да женок их в холстинковых сарафанах.

Многолюдна ты, матушка-Русь!

Светла и просторна площадь перед Успенским собором в Кремле. Да и ту заливают море людское. Вспомнилось Дионисию, как святили сей благолепный собор. Глаз не хватит — лица человеческие, пытливые. Москва — народ ожидает выхода великого князя Ивана Васильевича. Гремит сбруя коней серебряными да золотыми цепями. Попоны тоже звенят от серебряных бубенчиков, подвешенных к ним. В красных полукафтанах, в шапках, осыпанных изумрудами, выезжает на площадь государева стража. Но горит как жар в светлом убранстве сам государь Иван Третий Васильевич. На государе — крест алмазный, перевязь золотая, платно царское атлас по серебряной земле, травы золотые, запястья жемчугами унизаны. Смуглолиц, темноволос князь и высок ростом. Посему горбится он в платье царском. Блестит гордым взором, глядит куда-то поверх толпы, поверх замоскворецких теремов. Но и с тех дерзких кремлёвских высот не окинуть ему взором новые страны московские: рязанские, ярославские, двинские, заволочские, вятские, пермские... И всё ныне единая Русь!

Ликование в народе поднялось. Не московский удельный князь, а Государь над всеми государями земли Русской Москве — народу явился. Ей же, Руси, расти, молодеть и расширяться до скончания века.

Помнится, подступил к горлу комок у Дионисия, заблестели на глазах благодатные слёзы. Вскрылила его сила народная, вскричал он вместе с толпами: «Слава Пресвятой Богородице — заступнице русской! Слава государю нашему!»

...Притомился Дионисий от неотступных видений, от неблизней дороги. Спустился в овраг, поросший черёмухой, испил ключевой водицы, осыпанной черёмуховым снежком. Потом утёрся полкой ряски, присел тут же у ручья на камень-плакун, сложил крестом ладони на батожке, оперся подбородком, задумался...

Сколько он ни помнил себя с великим жаром душевным писал Богородицу. Едва, бывало, слышит величавый глас: «Радуйся чудо чудес Одигитрие-Владычице», как громом прокатится в душе похвальная песня — акафист в честь Богоматери Девы Марии: «Поющий Твое Рождество хвалим тя все, яко одушевленный храм».

На Руси со времен Калиты Одигитрия почиталась по многим церквам и посадкам. Молились Ей, слышав частый ливень копыт татар-



Иконник Дионисий Мудрый и мастерская.
Третий Вселенский собор.
Роспись южной стены собора Рождества
Богородицы Ферапонтова монастыря.



Иконник Дионисий Мудрый и мастерская.
Святитель Николай Чудотворец.
Роспись конхи апсиды собора Рождества
Богородицы Ферапонтова монастыря.



Иконник Дионисий Мудрый и мастерская.
Акафист Богородице, кондак III, «Сила
Вышняго...».
Роспись юго-восточного столба собора
Рождества Богородицы Ферапонтова
монастыря.



Иконник Дионисий Мудрый и мастерская.
Страшный Суд. Ад.
Роспись западной стены собора Рождества
Богородицы Ферапонтова монастыря.

ской конницы, увидев дымы, палимые по окоему. Выходили с иконой навстречу татарве, да ливонцу, да немцу, да ляху, да иным агарянам, супротивникам русских людей. Бились насмерть: один бился с тыщею, два — с тьмою. И светозарной зарей сияла над воями Одигитрия, Заступница за православных. Потому-то сладкие песнопения в честь Богородицы неумолчно звучали в душе живописца. Мыслил Дионисий те песнопения высказать по-своему, иконным письмом, незамутнёнными, чистыми красками. Лазурь да голубень брал от неба, киноварь — от утренней зари, охру — от яркого солнышка. И немало он изощрился в своём ремесле. Немало вымыслил деисусов со праздники и пророки.

В Боровском монастыре со старцем Митрофаном, у которого был Дионисий в пособниках, расписали они храм Рождества Богородицы чудно вельми. Дивился на роспись великий князь Иван Васильевич. Запомнил Государь молодого иконника, полюбил его за письмо, вещавшее о победоносной силе, о торжестве воинства христианского, а стало быть, и его, князя, могуществе.

И надо же было случиться: в лето 1482-е сгорела на Москве церковь каменная святого Вознесения. Пожар вспыхнул ночью, внезапно. Прибежавший церковный сторож кинулся в храм, охваченный полымём, дабы спасти Одигитрию, чудную икону греческого письма. Вынес сторож из церкви одну обгорелую доску. Жаром спалило лик Богородицы, повредило кузень дорогой серебряный оклад. Ропот пошёл по московским дворам и подворьям, по торговым рядам и причалам. Пребывали в страхе многие люди, беспокойно жилось им в Русской земле. Тем же летом крымский хан Менгли-гирей с силой своею взял Киев, много там пакостей учинил, многих в полон увёл и с жёнами их, и с детьми. Невозможно было Москве — жить без Вознесенской святыни. Тогда стали искать наилучшего иконника, который смог бы на той же доске и в том же Образе написать Одигитрию. И не было изящнее и хитрее в Русской земле живописца, чем Дионисий. В долгих трудах пребывал молодой иконник. А когда налил на ладонь олифы да протер той тёплой олифой письмо — ахнули миряне и иноки: Одигитрия была краше прежней, но и ничуть не отличима от греческой прориси.

С той обгоревшей и заново писанной иконы окружили Дионисия ещё большим почётом при княжеском дворе, при московском митрополичьем престоле. Летописец, пересказавший случай с пожаром, с похвалой помянул Дионисия, дабы пребывал он незабвенно «в последних родех».

Сам Иосиф Волоцкий, князь церкви, заказал и щедро оплатил иконнику роспись Волоколамского монастыря. Люди знатные, наипервейшие на Москве богатеи, шли к нему толпами: льстились сделать вклад в монастыри светлыми образами письма Дионисия, но всех более ласкал живописца государь Иван Васильевич Третий. Стал Дионисий жалованным иконником, государевым любимцем.

Но лучше бы пропадать Дионисию в безвестности, жить в скудости, в небрежении. Лучше бы ему быть скромным мирским писцом, ходить по Руси с вольной артелью, писать церкви по собственному разуменью. Добро плавал Дионисий по морю житейскому, ясными и тихими ветрами несло его ладью к берегу изобильному. Однако грянула буря вражья, и сотрясло ладью, как лист. В одночасье занемог он неутолимой скорбью. Невесел был Дионисий, необщителен. Примечал он на княжеском дворе прежде непримеченное: княжеские дворцы предавались корысти да сладострастию. Сам князь был мстителен и лукав. Видно с умыслом прозвал его Горбуном родной отец, князь Василий Васильевич. Мучим был злобой и надменной гордыней сын Иван.

Стал уставать Дионисий от великокняжеских ласк, от непомерных ивановых притязаний. Холодно стало его письмо, зело мудрственно. Отблесками славы, а не самой стозарной славой дышали росписи и Богомазные лики. Худ стал Дионисий для великого князя. А то лучше ли были иконники, холуяне, коих немало привезла с собой грекия Софья Фоминишна, вторая жена московского князя?

Тут-то и случилось быть письмам старца Иоасафа. Сулил Иоасаф забвение всех скорбей в лесах Ферапонтовых. Хвалил непомерно новый храм. Прельщал немалыми выгодами. Так-таки тяжело было пускаться Дионисию в неведомый предел, и долго бы он ещё раздумывал, если бы не настоял сын Феодосий.

«Истинное иосифлянское благочестие должны мы нести, как крест подвижники, — убеждал он отца. — Та земля Заволочская была пятиной великого Новгорода, заражённого ныне зловерьем. Самый край государства Московского — теперь Заволочье. Быть там праведникам московским и московским святителям. Быть там власти князя московского во веки веков».

Только не сына послушался Дионисий, а послушался он своей тайной думы. В Заволочской земле, вблизи от Ферапонтова монастыря, находилась некая заветная пустынь. Возмечтал Дионисий у великого старца той пустыни умягчить сердце покаянием, вылечить душу безмолвием...

И хотя скиты среди непроходимых топей и малых берёз были для мирских людей маловходны, одолеваемый горестными печальми Дионисий тронулся в путь в сопровождении левкасчика Еремея.

Снег в ту весну долго не таял. Лежал он, осевший, похожий на серый, худо постиранный саван. Земля сквозь лунки, желтевшие летошнюю травой, дышала трудно. При редких порывах ветра еловые лапы скреблись по насту, роняли на снег древесную прель и труху. На вывороченных буреломом корягах мерно покачивались сухие комья земли. Коряги зывали жутко и страшно к безликому небу.

Монастырские дроги, на которых бочком сидел Дионисий, сильно стукались о коренья. Еремей, почмокивая на лошадь, дремотно валился на плечо живописца, вздрагивал, озирался и снова раскачивался в неодолимой дреме. С тоской и болью глядел Дионисий на размётанный ветром, неприбранный, гибельный лес. Думал он, что скажет афонскому старцу, найдет ли в его речах утешенье, уверует ли в исцеленье мирских печалей, измаявших сердце.

Еремей меж тем очнулся от дрёмы, подобрал вожжи, прикрикнул на лошадь, — дроги резче стали встряхивать седоков. Заструился мелкий березняк, потом ельник — реже, реже, — дроги выскочили на болотистую луговину. Скиты пустыни были редко раскиданы по топкому берегу речки. Лёд вздулся, посинел, пошёл глинистыми потёками и полыньями. Только ветхая часовенка приметно белела среди скитов. На слабом солнце-греве возле часовни виднелся еловый настил. Дионисий с левкасчиком, не видя окрест ни единой души, подошли к настилу, застыли в молчанье. Вгрудегрязного, дурно пахнущего тряпья лежал умирающий инок. Борода его свалилась в ржавые клочья, смертные тени легли на щеки. Дышал он хрипло, тягуче. Иссиня-бледные губы прилепились к белым зубам.

Сердобольный левкасчик торопко сбегал к подводу, достал оловянный ковшик, зачерпнул талой воды из канавы и дал напиток монаху. Тот припал к ковшу, прозрачные капли скользнули по бороде, глотки были судорожны и часты.

— Ай, не дело затеяли, миряне, не дело...

Дионисий с левкасчиком враз оглянулись. Перед ним насупленной тучей высился старец. Был он осанист и худ. Седая с прозеленью борода свивалась косицами, стекая к лыковой опояске. Рука властно опиралась на тяжёлый дубовый батог.

Блажен, кто возненавидел сей мир и славу его. А вы восхотели земную юдоль инока Поликарпа продлить. Вот я вам и вещаю: бесполезное дело затеяли вы, миряне, в пустыне здешней.

Старец говорил глухо и строго. Он возвышался над мастеровыми, как сухая тростина над зеленой осокой. И коль скоро Дионисий ехал сюда, погружённый в смирение, в ожидание целительных откровений, он не сразу дал власть обиде и гневу.



Иконник Дионисий Мудрый и мастерская. Акафист Богородице, кондак X, «Спаси хотя мир...».

Роспись южной стены собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.



Иконник Дионисий Мудрый и мастерская. Страшный Суд. Рай.

Роспись западной стены собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.



Иконник Дионисий Мудрый и мастерская.
Акафист Богородицы, икос XI, «Пение всякое
побеждается...».
Роспись юго-западного столба собора Рождества
Богородицы Ферапонтова монастыря.



Иконник Дионисий Мудрый и мастерская.
Видение четырех царств.
Роспись западной стены собора Рождества
Богородицы Ферапонтова монастыря.

— Не дело другое: как псу, валяться монаху в смрадном тряпье. Он же ещё человек, — голос Дионисия был смиренен, но твёрд. Тайная горечь метнулась из глаз, притенённых тяжёлыми веками.

— Что сие человек? — откликнулся резко отшельник. — Вместилище немощей плотских? Мразь земная? Червь, копошащийся у подножья горы? Все едино: он тленен. Ну и пусть под неслыханной мукой, под гнётом, под страхом смиряет телесную плоть.

— Человек — вместилище светлых надежд, — столь же резко ответил ему Дионисий. — Даже в зловонном тряпье он питает надежду на спасенье души, коль не плоти.

Качнулся в суровом молчанье отшельник, повернулся узкой спиной к скорбному ложу и пошёл от пришельцев к часовне.

Так-то с афонским старцем повстречался отец Дионисий, так-то вступил с ним в беседу, мечтая найти утешенье.

Что ещё говорил ему старец, Дионисий не помнил. Только, может, острее, чем прежде, он понял одно: вознесенный в гордыне затворник мнил, что ключи от напастей, от бед человечества у него, у целителя, в левой ладони, а правая сжата в кулак — и перст, указующий, течёт в него, в живописца, как в несмышлениша, как в греховное, неспособное к разумению дитя...

На обратной дороге из пустыни древней заприметил Дионисий лесную поляну. Там вековую сосну повалило ветром: как видно, лесной понизовый пожар иссушил корни, выжег пламенем сердцевину. И хотя ещё зеленела верхушка, был черен и пуст, словно короб, в тёмных подпалинах ствол.

Вот таким опалённым, выжженным, опустошённым ощущал себя Дионисий после встречи со старцем. Гулко было внутри и пусто, как в подземелье. Отвращенье терзало, когда он брался за кисти, разводил олифу и краски. Бежал Дионисий от людей, бежал от живописной работы, но повсюду он нёс пустоту, всюду зрил перед взором надменный указующий перст.

...Очнулся Дионисий от дальнего колокольного звона. Прислушался: звонили в монастыре. Подивился он тому внезапному звону, да и забыл вскоре. Встал иконник с замшелого камня, размял занемевшие ноги, вышел на просёлок, снова затюкал своим батожком. Теперь уж недалеко до Ильинского погоста.

Дорога вбежала на ладное возвышенье, и тут-то, от двора попа Филарета, открылось лесное озеро, прозванное, как и гора, Цыпным. Много повидал Дионисий чудных чудес на земле, но краше этого озера вроде бы и не выдывал. Низкие берега его покрыла черемуха, а на взгорках росли берёзы, да тёмные ели, да высокие сосны. У самой воды приютился храм Ильи Пророка. Храм — деревянный, одношатровый, старинной плотницкой работы, чешуйчатая, крытая лемехом глава отражалась в неподвижной воде, и чудилось Дионисию, что из глуби вод вздымается ещё одно дивное строение, которое колеблется на воде лёгким платом, течёт к другому берегу, рвётся отражёнными главами.

Дионисий обогнул церковку, заглянул в сторожку Олехи-послушника. Там было пусто. Тогда он сел в тени старых берёз, снял камилавку, вытер вспотевший, с большими пролысинами лоб. В кустах редко попискивала синичка. Было так тихо, что доносился всплеск рыбы из прибрежной осоки. Гудели пчёлы, облетая душистые соцветья. И эта тишина, прогретая солнцем, пропахшая черемуховым цветом, освежённая озёрной водой, захлестывала человека, убаюкивала его, заставляла в полудрёме закрывать глаза.

Из-за высокой осоки вынырнула лодка-долблёнка. В лодке сидел послушник, орудовавший кормилом. Он обрадованно помахал рукой отцу Дионисию, который только молчаливо улыбнулся в ответ: любил

живописец послушника за открытый, весёлый нрав, за ясный ум и понятливость. Олеха в Дионисии души не чаял. Сдружились они зимними вечерами, когда гостевал живописец у попа Филарета. Олеха-послушник привык к неторопливому старцу, помогал ему растирать краски, левкасить липовые доски, следил, чтоб не прохудилась у иконника обувь и одежда.

Челн ткнулся в илистый берег. Послушник встал, подоткнул ряску, выбросил из челна верши, выкидал прямо в траву окуней и плотвичек, подошел к сидящему живописцу.

— А что, отец Дионисий, не заварить ли нам ущицу? Вкусна ущица из сладкого окуня...

— Добро, мой сын, добро, — будто очнувшись, промолвил Дионисий. — Только скажи: нет ли в сторожке цки липовой, хорошо пролевкашенной, да яиц, да кистей.

— Как, отец Дионисий, не быть... Я единым дыхом... Живописец благодарно взглянул на послушника и снова погрузился в глубокую думу.

С самой зимы не знал Дионисий такого молодого, до суши в горле порыва, такой яркой потребности писать. Хотелось ему немедленно взять в руки тоненькую, как стебелинку, кисть и замереть, затаиться перед первым мазком.

Запахавшийся Олеха расстелил холстинку, развёл в скорлупках нежный яичный желток, добавил соли, растворил краски. На липовую доску головенкой берёзовым угольком — Дионисий нанёс знамение — первую прорись: лик под мафорием, тонкую шею, кисти рук. Послушник, видя, что Дионисий при деле, ушёл разводить костерок, чистить окуней и плотвичек.

Доска была махонькой, всего в две ладони, но Дионисий писал Деву Марию с тщанием и любовью, нет, с душевным трепетом, словно, то был средник великого деисусного чина. Он положил на левкас серебряный тон, потом высветлил лик, потом положил пробелы.

Закатное солнце клонилось к Цыпиной горе. Оно поило округу золотоносной пылью, крыло сосны кованой медью, молодые берёзки слабою желтизной. Небо над живописцем было светлой — до головкружения — лазури, но Дионисий впился взглядом в доску. Он отрывался только затем, чтобы осторожно макнуть кисть в скорлупу и снова сделать лёгкий движок.

Тонко-тонко запел первый комарик. В кустах, у самой воды, выщекотал соловей. Из глубины заозёрного бора, сквозь скользящие волны вечернего света, летело гулкое кукованье. И тогда, казалось, стихало треньканье, звеньканье, попискивание, перепархивание в прибрежных кустах, чтобы, едва смолкнет голос кукушки, снова слиться в согласный победительный хор. Озерцо, блестящее слюдой, было окольцовано тем многоголосым гомоном птиц: перед заходом всякая тварь славилась день, проведённый в трудах и заботах.

...Дионисий со вздохом облегчения отпрянул от поставца. Подошёл Олеха-послушник, заглянул через плечо и не мог оторвать взора от дивного Образа.

Нежен и сладостен был лик Девы Марии. Сросшиеся на переносице брови гнулись крутыми дугами. Уголки рта писанного черленью, теплили душевную доброту и сердечность. Но чудны вельми были очи Марии: вся радость и печаль мира была в её голубых очах. Очи жили, — в глубине их светились два крохотных животворящих пламени.

— Отец Дионисий, то есть Одигитрия? — простодушно спросил послушник, когда наслаждался невиданным зрелищем.

Долго не мог охолонуть Дионисий от сладостных, пережитых им за писаньем волнений. Они же радовали его целительной силой, просветленьем ума, изнемогшего в ожидании тьмы кромешной. И теперь на закате, у светлой озёрной воды, закончив невиданный образ, Дионисий дивился мудрости слов, изречённых содругом его Митрофаном. Голосом тихим, как шелест вечерней листвы, вещал Митрофан: «От трудов



Иконник Дионисий Мудрый и мастерская. Акафист Богородице, икос XI, «Светоприемную свещу...».

Роспись северо-западного столба собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.



Иконник Дионисий Мудрый и мастерская. Страшный Суд. Ангел, толкующий видение пророку Даниилу.

Роспись западной стены собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.



Иконник Дионисий Мудрый и мастерская.
Акафист Богородицы, кондак XII «Благодать
дати восххотев...». Икос XII, «Поющее Твое
Рождество...».
Роспись северной стены собора Рождества
Богородицы Феропонтова монастыря.



Иконник Дионисий Мудрый и мастерская.
Страшный Суд.
Роспись западной стены собора Рождества
Богородицы Феропонтова монастыря.

своих мученических будешь иметь ты печали многия, но в тех же трудах найдешь великое утешенье».

В багряном огне заката, под сенью дуплистых берёз, хлебал Дионисий с послушником Олёхой окуневую уху. Навариста и воистину сладка была ушица. Обжигала рот, веселила тело. Добрая истома разливалась от неё по рукам и ногам, и не было сил встать с приозёрного луга, пойти в сторожку, которая до притоки была забита душистым сенцом. На том молодом, духовитом сенце крепко, как в дни первой молодости, спал Дионисий. Снилось ему умершая жена Ориница в ромашковом полевом венке. Смеялась зазывно, лукаво. Манила к себе. Звала.

Когда проснулся иконник, в морщинах щёк не высохли слёзы. Лежал он в сторожке, не открывая глаз, боясь вспугнуть отсветы сновидений. Потом встал, надел ряску, обул татарские сапоги, просушенные Олёхой-послушником, и задолго до первого луча пустился в обратный путь, в Феропонтову обитель.

...На севере июньские ночи светлее зимнего дня: малиновая заря сливается с нежно-розовым восходом, и свет вечерней звезды во всем подобен свету звезды утренней. В том розовом озарении густые травы сникают под тяжестью скатных жемчугов: роса серебрится на травах тускло, дымчато. Пичуга выпорхнет на просёлок, попрыгает, попьёт, сладко прижмурив глазок, из чаши придорожной мать-и-мачехи и вспорхнёт с тонким писком. Так было и в ту белозарную ночь. Высоко и прохладно встало над Дионисием небо. Шёл он споро, но неторопливо, как странник, привыкший к долгой дороге. Вскоре показалась деревенька Лещёво...

Когда он вошёл в обитель, прямо перед ним воссиял благолепный собор. Белокаменные стены порозовели от рассветных лучей. Глава парила в утренней голубизне. Дионисий медленно приблизился к лестнице, и тут-то он увидел то, что трепетно ожидал, к чему стремился с такой нетерпеливостью, на что надеялся, о чём думал в тоске и неотступной кручине, но что, однако же, поразило его тем сильнее и глубже, чем горше были его сомнения и ночные страхи.

В прозрачном воздухе во всей первозданной чистоте красок предстала перед ним роспись главного входа. Высоко к деревянному скату вознесся «Деисус». Богородица перед престолом Сына смиренно молилась за род людской, за всех страждущих и скорбящих. Ниже, по правую и левую руку, в росписях были представлены «Рождество Богородицы» и «Ласканье Младенца». Еще ниже — два ангела. Левый ангел на дорогом пергаментном свитке писал имена вступающих в храм. А по самому низу развевались два белых плата с крупными медальонами посередине.

Какой радостью, миролюбием, кротким согласьем веяло от «Рождества Богородицы» и «Ласканья Младенца»! Роженица, праведная Анна, полулежала на широком ложе. Голубое одеяло прикрывало её. Служанка в зелёном хитоне подавала Анне питьё в золотой чаше. Чуть поодаль стояли две соседки: одна, с высокой причёской, в розовой накидке, говорила что-то другой, а та держала в руках сосуд и внимала ей вдумчиво и спокойно. Внизу, у купели, девушка пробовала воду, теплая ли вода. Ее подруга держала на коленях младенца.

А за сей дружелюбной, погруженной в светлое умиротворенье семьёй, за палатным письмом с портиками и колонками голубело такое высокое, такое чистое небо, что отблески его, казалось, падали на кирпичи галереи.

Понимал Дионисий: дерзкий вызов бросал он времени, веку. Он бросал свой вызов братоубийственным войнам князей, нечестивым властителям, всем, кто сеет раздоры и муки.

Вопрошал Дионисий: «Так ли жить надо, люди?» Отвечал он: «Вот так надо жить вам: постигайте счастье привета и ласки, доброты и семейной отрады. Встречайте Рожденье Младенца с любовью, любите друг друга, как Анну любил Иаким, как любит вас всех Дева Мария».

Восходил Дионисий, озарённый лучами, на широкую паперть. Он хотел увидеть, нет, он услышать хотел, как звучит его стенопись в Рождество-Богородицком храме. Вошёл старый иконник под гулкие своды. Вошёл и закрыл на мгновение глаза. Послышался слитный гул молящихся. Дыханье людских множеств витало в соборе. Шелест парчовых риз, звон браслетов, бряцание мечей окружили иконника. Но, заглушая шорохи, вздохи, звоны, молитвы, грянул акафист: «Радуйся чудо чудес, Одигитрие-владычице».

Дионисий открыл глаза. Вроде бы всё так и было: текли людские толпы, парили праведники в небесной лазури, сидели, едва прикасаясь к скамьям, мудрые старцы. Однако акафист звучал приглушенно. Лик Богоматери, повторённый множество раз, был спокоен. Не ласканье, не умиление являл Лик — величавую отчужденность. Но толпы людские текли и текли в дорогах одеяньях, в рубищах, в лёгких хитонах, в воинском позлащенном убранстве. Взывались на крутые горки кони волхов. Прорастали болотные травы. Рыкали диковинные звери. Журчали хрустальные родники. И снова роспись сплеталась в янтарно-лазоревою многovesщанную вязь, в которой всё время тревожно, настойчиво звучал вишневым мафорий Девы Марии.

Близко к полудню Дионисий спустился со стремянки, на которой стоял с утра, расписывая «Николу» в дьяконнике.

— Феодосий, — позвал он сына. — Как закончим роспись собора на софите северной дверцы, крупным уставом напишешь: когда подписан сей храм... — Подумал, потом пояснил: И кем...

Феодосии не скрыл удивления:

— Для чего, отец, сие дело?..

— Дабы потомки не променяли наших простых речей на краснейшие, — ответил ему Дионисий, пошёл к стремянке заканчивать поясного «Николу», остановился. — Дабы были их сужденья вне истины.

Вадим Дементьев

ПАМЯТНОЕ И РОДНОЕ

Отец постоянно рвался на родину, мечтал купить возле своей деревни хоть какой-то домишко, чтобы приезжать летом на рыбалку. Он не мыслил своего существования вне кубенских просторов. Зная о таких его желаниях, наш родственник Рудольф Николаевич Кирьянов, глава могущественной в те времена фирмы «Вологдахимлес», однажды с упреком сказал: «Слушай, а зачем тебе времянка, стройся, как человек. Мы тебе в леспромхозе хороший сруб сделаем». И действительно, вскоре срубил.

В таком стремлении отца жить на родине чувствовалась не только его душевная тоска по отчим краям в огромной столице, где нет незастроенного горизонта, а ещё прослеживались и какие-то наследственные гены. В книге «Северные фрески» он писал: «Мой дед по отцу, Александр Александрович, исколесил землекопом едва ли не пол-России. Но как бы далеко ни забрасывала его судьба, неизменно он возвращался на родину. Не было для него краше Кубенского озера, не было краше деревни Каргачево, где и мне довелось родиться в свой срок».

Отец приезжал в Кубеноозерье почти ежегодно. Только последнее свое лето он пропустил, не смог сюда по болезни добраться.

...Умирал он мучительно долго. Я навещал его в больнице и с каждым разом видел, как истончались отцовские лицо и руки. Жизнь его заканчивалась, и сделать уже ничего было нельзя.



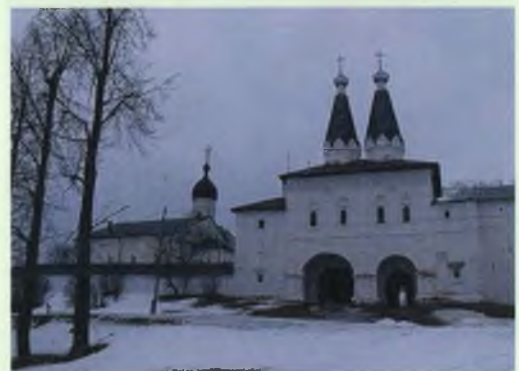
Худ. Д. Н. Воронцов.
Собор Рождества Богородицы Ферапонтова
монастыря. Вечереет.
2009 год.



Худ. Д. Н. Воронцов.
Собор Рождества Богородицы Ферапонтова
монастыря зимой.
2009 год.



Худ. Д. Н. Воронцов.
Ферапонтов монастырь со стороны
Бородаевского озера.
2009 год.



Худ. Д. Н. Воронцов.
Врата Ферапонтова монастыря.
2009 год.
Фотографии из собрания автора.